

МИХАЙЛ РÉТЕР

Будапéшт

К ВОПРОСУ О Т. Н. КОСВЕННЫХ РЕЧЕВЫХ АКТАХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ „АННЫ КАРЕНИНОЙ” Л. Н. ТОЛСТОГО)

В последней трети нашего века, после значительных успехов, достигнутых в описании структуры языка, внимание языковедов все больше обращается в сторону его употребления, его роли в сложных процессах человеческой коммуникации. Разумеется, интерес к коммуникативной функции языка проявлялся в той или иной степени в течение всей истории языкоznания. (Вспомним хотя бы „целевую модель” языка, разработанную в период между двумя мировыми войнами главным образом лингвистами Пражской школы<sup>1</sup>. Однако, новый функциональный подход к языку отличается тем, что он осуществляется на широкой базе сотрудничества и взаимодействия целого ряда как собственно лингвистических, так и нелингвистических отраслей науки. В настоящее время уже вырисовываются очертания всеобщей и интегрированной теории человеческой коммуникации, в которой языкоznанию подобает занимать видное место, но которая, в свою очередь, не может не оказывать обратное влияние на само языкоznание.

Одним из наиболее интересных направлений в новом коммуникативном изучении языка является теория речевых актов, основы которой были разработаны Дж. Л. Остином и Дж. Р. Серлом<sup>2</sup>. Эта теория опирается в конечном счете на как будто тривиальное положение о том, что речь — это одна из разновидностей человеческой деятельности. Так как любое сознательное человеческое действие предполагает некую целевую направленность (намерение, установку), то и каждый речевой акт имеет свой установочный аспект, называемый его иллоктивной силой или значимостью. Речевой акт представляет собой, собственно, единство трех актов: 1) акта высказывания, т. е. произнесения данного звукоряда, 2) пропозиционального акта, заключающего в себе референцию и предикацию, и 3) иллоктивного акта,

<sup>1</sup> R. Jakobson, *Efforts toward a Means-Ends Model of Language in Interwar Continental Linguistics*, [b:] *Trends in Modern Linguistics*, T. 2, Utrecht 1963, с. 104—108.

<sup>2</sup> J. L. Austin, *How to Do Things with Words*, Oxford 1962. J. R. Searle, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge 1969.

т. е. совершения речевого действия в виде утверждения, вопроса, приказа, просьбы и т. д.<sup>3</sup>

Изучая речевые акты в рамках данной модели, исследователи скоро убедились в том, что в целом ряде случаев наблюдается расхождение между „пропозициональным значением” высказывания (ПЗ) и его „иллокутивной силой” (т. е. смыслом высказывания, СВ). Так, в следующем диалоге

Студент А: Пойдем сегодня вечером в кино!

Студент В: Я должен готовиться к экзамену.

иллокутивный акт „предложение” легко опознается в первом высказывании благодаря наличию „иллокутивного индикатора” (инклузивно-императивной формы *пойдем*); второе же высказывание воспринимается в данном контексте как отказ студенту А в его предложении, хотя по своему ПЗ эта реплика является просто утверждением относительно студента В. Точно так же высказывания типа *Вы не скажете который час?* воспринимаются в большинстве ситуаций, когда их произносят, не (или не только) как вопросы, но (и) как просьбы. Подобные высказывания и получили название косвенных речевых актов (*indirect speech acts* КРА).

КРА — хорошо известные и часто встречающиеся явления в нашей повседневной речевой деятельности. Тем не менее, теоретическое осмысливание их сущности, классификация их разновидностей, различие их от сходных явлений остаются дискуссионными вопросами в науке о речевой коммуникации. Основная проблема сводится, пожалуй, к следующему: каким образом слушающий может понять смысл высказывания, когда этот смысл не совпадает с непосредственно воспринимаемым пропозициональным значением данного речевого акта?<sup>4</sup> Попытки, предпринятые в разных направлениях, показали, что ни логический подход (набор аксиоматических условий и стратегия умозаключений), ни лингвистический подход (набор синтаксических правил, порождающих „глубинный” иллокутивный акт) сами по себе не дают удовлетворительного ответа на этот вопрос<sup>5</sup>. Наиболее правдоподобным, хотя и недостаточно полным и точным, нам кажется мнение Серла, согласно которому „в косвенных речевых актах говорящий сообщает слушающему больше, чем он фактически говорит, опираясь при этом на общие для собеседников фоновые знания, как языковые, так и неязыковые, а также на общую способность к рациональному мышлению и к умозаключениям со стороны слушающего”<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> См. I. R. Searle, *op. cit.*, с. 24. Остин объединял акт высказывания и пропозициональный акт под термином *локуции* и выделил в качестве третьего аспекта *перлокуцию*, подразумевая те эффекты (испуг, радость, уверенность и т.д.), которые данный речевой акт вызывает у слушающего.

<sup>4</sup> См. J. R. Searle, *Expression and Meaning*, Cambridge 1979, с. 32.

<sup>5</sup> J. R. Searle, *Expression and Meaning*, 56—57.

<sup>6</sup> Там же, с. 32. В связи с понятием общих фоновых знаний большое внимание заслуживают рассуждения Л. П. Якубинского об „апперцирующих массах” у участников диалога, позволяющих им „говорить намёками”. Автор указывает, в частности, на ди-

Слабым моментом в изучении КРА нам кажется то, что это изучение проводилось до сих пор на явно недостаточном эмпирическом материале. В качестве материала обычно привлекаются или сильно конвенционализованные речевые клише типа *Не скажете, который час?*, или же весьма ограниченное количество кратких (и большей частью фиктивных) диалогов, в то время как характер изучаемого явления требует его массового исследования в „полевых условиях”, с желательным применением скрытой видеомагнитофонной установки. Разумеется, такой метод записи и анализа связан с затратой огромного количества времени и энергии. Но тут-то к нам спешит на помощь художественная литература, в данном случае уникальный талант и мастерство Л. Н. Толстого с его способностью к „изумительной реальности изображения”, которую М. Горький характеризовал следующими словами: „Когда его читаешь, то получается... ощущение как бы физического бытия его героев, до такой степени ловко у него выточен образ, он как будто стоит перед вами, вот так и хочется пальцем тронуть”<sup>7</sup>.

Здесь нет возможности, да и необходимости вдаваться в сколько-нибудь подробную характеристику этого мастерства, тем более, что мы ставим себе целью не иллюстрацию толстовского искусства изображения, а скорее наоборот, использование этого искусства для освещения вопроса о КРА. Поэтому мы позволим себе указать лишь в самом общем виде на те стороны его мастерства, которые для данной цели имеют существенное значение. Это, во-первых, то, что вслед за Чернышевским принято называть раскрытием „диалектики души” при помощи внутренней речи персонажей, а также „протоколов сознания” (выражение Г. Дудка), составляемых от имени самого автора. Второе — это изумительно точное и реалистическое изображение того, что на языке современной науки называется многоканальностью коммуникации; Г. Дудек говорит в связи с этим о „системе трех языков”, подразумевая одновременное использование в общении толстовских героев „логического языка разума, импульсивного языка чувств и инстинктивного языка тела”<sup>8</sup>.

Спрашивается, однако, правомерно ли при всем эстетическом совершенстве (вернее, именно из — за эстетического совершенства) толстовских „протоколов сознания”, внутренней речи его персонажей и их многоканальных разговоров использовать его тексты в качестве материала для раскрытия закономерностей наших повседневных речевых действий? Думаем, что ответ на этот вопрос может быть утвердительным по следующим соображениям. Во-первых, мы считаем вслед за Серлом, что высказывание в ху-

нанический характер этих „масс”, на их нарастание в ходе данного диалога, порождающее самой речевой деятельностью. См. Л. П. Якубинский, *О диалогической речи. Русская речь*. Сб. статей под ред. Л. В. Щербы, Петроград 1923, с. 146—165.

<sup>7</sup> М. Горький, *О литературе*, Москва 1953, с. 441.

<sup>8</sup> G. Dudek, *Lew Tolstoi — künstlerische Entdeckung und ästhetische Herausforderung*, „Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse”, 1981, 122, 2, с. 5—6.

дожественной прозе не является особым видом иллюкции; оно представляет собой симуляцию естественного речевого акта<sup>9</sup>. Во-вторых, несомненно, что внутренние монологи и „протоколы сознания”, скажем, в романе *Анна Каренина* — это стилизации естественной внутренней речи. Однако, не менее „стилизованной” является и стратегия умозаключений, предлагаемая Серлом для утверждения иллюктивной значимости КРА, так как в естественной речевой ситуации вряд ли кто будет проделывать в заданной последовательности все ходы аргументации<sup>10</sup>. Различие в характере этих „стилизаций” всецело вытекает из общего различия между художественным и научным отражением действительности, и не затрагивает вопроса о достоверности того или другого способа отражения. Приведем пример из романа. Анна и Вронский разговаривают в гостиной княгини Бетси; Анна упрекает его в неблаговидном поведении по отношению к Кити Щербацкой. Вронский защищается:

— То, о чем вы сейчас говорили, была ошибка, а не любовь.

— Вы помните, что я запретила вам произносить это слово, это гадкое слово, — вздрогнув, сказала Анна; но тут же она почувствовала, что одним этим словом: запретила она показывала, что признавала за собой известные права на него и этим самым поощряла его говорить про любовь... (149)<sup>11</sup>)

Разумеется, реакция Анны на произнесенное ею же самой слово — это художественная стилизация, исполненная в сложной и тонкой форме т. н. смешанной речи<sup>12</sup>. Эту речь можно перевести на „язык науки” в виде формулировки аксиоматических условий (действие запрета предполагает авторитетное отношение А к В; А предполагает, что В может или намерен совершить действие Х; А уверен, что может отклонить В от совершения этого действия и т. д.), а также ряда умозаключений, в результате которых Вронский приходит к выводу, что он все-таки имеет шансы у Анны. Но это было бы тоже своего рода „стилизацией” того, что „действительно” происходило между собеседниками во время их разговора.

Переходя к своему собственному материалу, мы надеемся при его помощи обратить внимание на некоторые проблематичные моменты и/или пробелы в трактовке КРА.

В настоящее время можно считать более или менее общепринятым взгляд, согласно которому КРА воспринимаются с учетом ПЗ высказывания. (Если

<sup>9</sup> См. J. R. Searle, *Expression and Meaning*, с. 60—68.

<sup>10</sup> Там же, с. 34. Как на „косвенное оправдание” своего выбора иллюстративного материала могу сослаться и на то, что в выше указанной работе Л. П. Якубинского, которая является одним из первых и наиболее глубоких исследований по социолингвистике в советском языкоизнании, в большом количестве приводятся примеры из *Анны Карениной* Л. Н. Толстого.

<sup>11</sup> Все цитаты из романа *Анна Каренина* приведены по *Собранию сочинений в четырнадцати томах* Л. Н. Толстого, Т. 8, Москва 1952. Цифры в скобках обозначают страницы по этому изданию.

<sup>12</sup> О понятии смешанной речи см. L. Doležel, *O stylu moderní české prózy*, Praha 1960, с. 92.

на предложение студента А пойти вечером в кино студент В ответил бы не „Я должен готовиться к экзамену”, а, допустим, „Я должен соблюдать диету”, иллокутивный акт отказа оказался бы вовсе не очевидным.) Именно на основании семантического отношения между ПЗ и СВ Серл и отличает собственно КРА от метафорических и иронических высказываний. В КРА СВ заключает в себе ПЗ, но вместе с тем и шире его: говорящий „имеет в виду то, что он говорит и еще кое-что”. В метафорических выражениях СВ достигается через ПЗ, хотя последнее не покрывает первым. В иронических высказываниях СВ также воспринимается через ПЗ, причем ПЗ и СВ находятся в антонимическом отношении: говорящий „имеет в виду противоположное тому, что он говорит”<sup>13</sup>.

В связи с этим мы поставим следующие вопросы: 1. Являются ли все высказывания ироническими, в которых между ПЗ и СВ имеется антонимическое отношение? 2. Верно ли, что СВ воспринимается во всех КРА с учетом ПЗ высказывания? 3. Если ответ на предыдущий вопрос будет отрицательным, то на каком же основании воспринимается СВ в КРА? Попытаемся ответить на эти вопросы по очереди.

#### КРА С АНТОНИМИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЕМ МЕЖДУ ПЗ И СВ

Прежде всего, из круга изучаемых явлений следует исключить ложь. При неожиданном приезде мужа на дачу Анна думает: „Вот некстати; неужели ночевать?” Но мужу она говорит: „Ты ночуешь, надеюсь?” Высказывание Карениной не косвенный, а извращенный речевой акт (*pervertierter Sprechakt* по терминологии В. Эрих и Г. Зайле), так как Анна не „имеет в виду то, что она говорит, да еще что-то в добавление”. Она имеет в виду противоположное тому, что она говорит, и старается не выдавать этот противоположный смысл. Она нарушает те аксиоматические условия эффективной коммуникации, которые принято называть „условием откровенности” и „принципом кооперации”. Ложь, в свою очередь, только и тогда будет эффективной, когда слушающий не заметит нарушения этих условий, когда он не поймет интенцию говорящего<sup>14</sup>. Однако, как мы знаем по жизненному опыту, границы между ложью и истиной порой бывают весьма расплывчатыми, и с этим следует считаться и в теории речевых актов. Вернемся к разговору Анны с Бронским в связи с тем, что последний оскорбил чувство и доверие Кити Щербацкой:

— Чего вы хотите от меня? — сказал он просто и серьезно.

— Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити, — сказала она.

<sup>13</sup> J. R. Searle, *Expression...*, c. 115.

<sup>14</sup> См. V. Ehrlich, G. Saile, *Über nicht-direkte Sprechakte, [b:] Linguistische Pragmatik*, под ред. von D. Wunderlich, Frankfurt/M 1972, c. 275—276.

— Вы не хотите этого, — сказал он.

Он видел, что она говорит то, что принуждает себя сказать, но не то, чего хочет. (149)

И дальше:

... — Так сделайте это для меня, никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями, — сказала она словами; но совсем другое говорил ее взгляд.

— Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастливейшими из людей — это в вашей власти. (150)

Что это такое? Прозрачная и потому неудачная ложь? Прежде чем ответить, мы должны оговорить, что ставим этот вопрос в коммуникативном и отнюдь не моральном плане. Обратим внимание на то, что Анна говорила словами одно, „но совсем другое говорил ее взгляд”, и Вронский „видел”, что она говорит „не то, чего хочет”. Иными словами, здесь происходит многоканальная коммуникация: по вербальному каналу передается одно сообщение, по невербальному — другое, противоположное. Вся суть проблемы в том, является ли невербальная коммуникация непроизвольной или намеренной? Исчерпывающий ответ на этот вопрос требовал бы целого трактата; поэтому скажем по необходимости декларативно: на наш взгляд невербальная коммуникация может управляться сознанием, она может обладать иллоктивной силой. Рискуя затрагивать психологический аспект проблемы, добавим, что в данном случае мимика Анны, как нам кажется, обладает иллоктивной значимостью. Иными словами: Анна хочет, чтобы Вронский знал, что она говорит не то, чего она хочет. Тут-то и обнаруживается, с одной стороны, знаменитая „диалектика души”, а, с другой стороны, способность Толстого разбираться во всей сложности человеческой коммуникации. Эта способность проявилась у него очень рано, когда он был еще начинающим писателем и как-то заметил: „Я люблю эти таинственные отношения, выраживающиеся незаметной улыбкой и глазами, и которых объяснить нельзя. Не то, чтобы один другого понял, но каждый понимает, что другой понимает, что он его понимает и т. д.”<sup>15</sup>. И так, мы предлагаем считать подобные выше приведенным примерам квазилживые высказывания особой разновидностью КРА и, за неимением пока лучшего термина, называть их речевыми актами саморазоблачения.

К КРА с антонимическим отношением между ПЗ и СВ мы относим также случаи „напрашивания на комплименты” (*fishig for compliments*)<sup>16</sup>. Если формулой „саморазоблачения” является „А говорит Х, но подразумевает не-Х, и хочет, чтобы В понял это”, то формулой „напрашивания на комплименты” будет „А говорит Х, но подразумевает не-Х, и ожидает, чтобы В в ответ утверждал, что не-Х”. Вот например, разговор Анны с Кити,

<sup>15</sup> Л. Н. Толстой, *История вчераиного дня. Собрание сочинений в двадцати томах*, Т. 1, Москва 1960, с. 381.

<sup>16</sup> Эрих и Зайле усматривают в этих речевых актах, как впрочем и в иронических и метафорических высказываниях, „имплицитные пропозиции”. См. ук. соч. 283.

в котором Анна замечает, что ей на балах бывает скучно. Кити с удивлением спрашивает:

— Как может быть вам скучно на бале?

— Отчего же мне не может быть скучно на бале? — спросила Анна.

Кити заметила, что Анна знала, какой последует ответ.

— Оттого, что вы всегда лучше всех. (80—81).

Встречаются и более тонкие случаи „напрашивания”. Вот сцена знакомства Анны с Вронским в Москве, на вокзале; Анна ехала в одном вагоне с матерью Вронского, которая объясняет сыну:

— У Анны Аркадьевны... есть сынок восьми лет, кажется и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его.

— Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, — сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему.

— Вероятно, это вам очень наскучило, — сказал он, сейчас, на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. (71)

Этот подчеркнутый параллелизм „я о своем, она о своем сыне” заключает себе не только кокетливый намек на возрастное различие двух матерей но и легкую насмешку над графикой, и, может быть, еще кое-что, затрагивающее уже компетенцию психоанализа ... Также осложненным, но скорее в социально-психологическом отношении, является разговор Вронского в театре со своей кузиной, Бетси Тверской. Речь идет о складывающейся привязанности Вронского к Карениной, причем „глубинный” смысл диалога раскрывает сам автор:

Вронский: — ... Я начинаю терять надежду.

— Какую же вы можете иметь надежду? — сказала Бетси, оскорбившись за своего друга, — entendons nous ... — Но в глазах ее бегали огоньки, говорившие, что она очень хорошо, и точно так же, как и он, понимает какую он мог иметь надежду.

— Никакой, — смеясь и выставляя свои сплющенные зубы, сказал Вронский... — Я боюсь, что становлюсь смешон.

Он знал очень хорошо, что в глазах Бетси и всех светских людей он не рисковал быть смешным. Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна; но роль человека, приставшего к замужней женщине и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеянье, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна, и потому он с гордою и веселою, игравшую под его усами улыбкой опустил бинокль и посмотрел на кузину. (138)

Механизм КРА здесь такой же, как и в предшествующих примерах „напрашивания на комплименты”. Но поскольку напрашиваться можно не только на комплименты, будем условно называть этот тип высказываний „вызовом” (в широком смысле слова). Иногда „вызов” осуществляется при помощи „мены ролей”. Приведем пример разговора Кити с Варенькой. Девушка, с которой Кити познакомилась на немецком курорте, рассказывает о своей несчастной любви к одному молодому человеку, который не женился на ней по воле своей матери. Рассказ девушки наводит мысль Кити на ее собственную печальную историю с Вронским. Она спрашивает:

... — Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрег вашею любовью, что он не хотел?...

— Да он не пренебреж; я верю что он любил меня но он был покорный сын...

— Да, но если б он не по воле матери, а просто, сам?... — говорила Кити чувствуя, что она выдала свою тайну и что лицо ее, горящее румянцем стыда уже изобличило ее.

— Тогда бы он дурно поступил, и я бы не жалела его, — отвечала Варенька, очевидно поняв, что дело идет уже не о ней а о Кити. (236)

В блестящей психологической миниатюре изображается неумелая попытка Облонского вовлечь в диалог — „вызов” свою маленькую дочку, Таню. После большого скандала с женой, когда „все смешалось в доме Облонских”, и Долли третий день не выходила из своей комнаты, Облонский утром спрашивает у ребенка:

— Что мама?...

— Мама? Встала, — отвечала девочка.

Степан Аркадьевич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», — подумал он.

— Что, она весела?

Девочка знала, что между отцом и матерью былассора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел. (13)

#### КРА БЕЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЗ И СВ

Выше мы уже указали на то широко распространенное мнение, по которому правильное восприятие КРА упирается на ПЗ высказывания, точнее на семантическую связь между ПЗ и СВ. Однако, в действительности такая связь не всегда налицо. Мы имеем в виду, прежде всего, всякого рода зашифрованные сообщения. Известно, например, что во время второй мировой войны участники подпольного французского движения сопротивления узнали о десанте союзных войск в Нормандии путем передачи по радио стихотворения Верлена *Chanson d'automne*. Осмысление подобных зашифрованных сообщений происходит исключительно на основе заранее установленной, особой конвенции. Разумеется, зашифрованные высказывания весьма специальные и периферийные явления в нашей речевой деятельности.

Семантическая связь между ПЗ и СВ отсутствует и в тех случаях, которые можно обозначать как „перемену темы”. В связи с этим необходимо хотя бы вкратце вспомнить о секвенциальной организованности диалога. Под секвенцией здесь понимается минимум пары чередующихся реплик, где  $P_2$  (= Реплика<sub>2</sub>) представляет собой определенную реакцию на  $P_1$ ; отсутствие же такой реакции сигнализирует или о нарушении „принципа кооперации”, или о каком-либо содержательно релевантном повороте в процессе коммуникации<sup>17</sup>. Весьма часто нарушение секвенциальности в виде внезап-

<sup>17</sup> E. A. Schegloff, *Notes on a Conversational Practice: Formulating place. Studies in Social Interaction*. New York 1972. См. также: Pléh, K. Csaba-Rádics, *Beszédaktus-elmélet*

ной перемены темы разговора можно интерпретировать как КРА, смысл которого может определяться без учета ПЗ „новой темы”, на основе одной только ситуации и/или сопровождающего невербального сообщения. Приведем два весьма эксплицитных примера. Первый: Облонский встречает свою сестру в Москве на вокзале; после того как они сели в карету, Анна задает вопрос:

— А ты давно знаешь Вронского? — ...

— Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.

— Да? — тихо сказала Анна. — Ну, теперь давай поговорим о тебе — прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. (73)

Второй: тоже сцена на вокзале, на этот раз в Петербурге; Каренин встречает Анну:

— Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя, — сказал он своим медлительным тонким голосом и тем томом, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил.

— Сережа здоров? — спросила она.

— И это вся награда, — сказал он, — за мою пылкость?

Здоров, здоров... (113)

Потом Анна представляет мужу Вронского, который ехал в том же поезде, как она:

— Граф Вронский, — сказала Анна

— А! Мы знакомы, кажется, — равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. — Туда ехала с матерью, а назад с сыном, — сказал он, отчетливо выговаривая, как рублем даря каждым словом. — Вы, верно, из отпуска? — сказал он и, не дожидаясь ответа, обратился к жене своим щуточным тоном: — Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке?

Обращением этим к жене он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы; (116)

К КРА мы относим и такие высказывания, смысл которых воспринимается только на основе ситуации и/или общих для собеседников фоновых знаний, так как само пропозициональное значение высказывания является дефектным. Одним из видов дефектности представляется замена референции деиксисом. Речь идет не о всех обычных средствах языка, выполняющих деиктическую функцию и изучаемых в лингвистике текста, а только об одном особом случае деиксиса, который можно называть „прономинализацией темы разговора”. Вот, например, разговор Левина с Облонским. Левин, приехавший в Москву для того, чтобы сделать предложение Кити, но не решившийся сделать это во время их встречи на катке, хочет узнать мнение Облонского относительно своих шансов у Кити. Облонскому известно намерение Левина, и вот между ними происходит следующий разговор:

— Так ты зачем же приехал в Москву?...

— Ты догадываешься? — ответил Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.

— Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, — сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.

— Ну что же ты скажешь мне? — сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. — Как ты смотришь на это?

Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.

— Я? — сказал Степан Аркадьич, — я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.

— Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? — проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. — Ты думаешь, что это возможно?

— Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

— Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь!... (43—44)

Впечатление „дефектности”, „загадочности” этого разговора происходит от того, что его тема („сделать предложение Кити”) в течение всего диалога, последовательно и обоими собеседниками обозначается различными формами местоимения *это*<sup>18</sup>. При этом следует обратить внимание на то, что этот „загадочный” разговор все время сопровождается значительной коммуникацией по мимическому каналу: Левин задает свои вопросы „не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз”, „впиваясь глазами в своего собеседника”, а Облонский отвечает „с тонкою улыбкой глядя на Левина”, „не спуская глаз с Левина”.

Высказывание может быть „дефектным” и просто в силу своего отсутствия. Когда Левин говорит своему больному брату, Николаю, что больше дорожит его дружбой, чем дружбой другого своего брата, Сергея, Николай спрашивает:

— Почему, почему?

Константин не мог сказать, что он дорожит потому, что Николай несчастен и ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмутившись, взялся опять за водку. (100)

В данном случае правильно воспринимается КРА, выступающий в виде „нулевого высказывания”. (В классической риторике это явление называлось фигурой умолчания.) Деиксис и умолчание могут выступать и в комбинированном виде, как, например, в разговоре Кити со своей матерью:

— Что он, давно ли приехал? — сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой.

— Нынче, маман.

<sup>18</sup> Приводя этот же пример, Л. П. Якубинский интерпретирует его следующим образом: „хотя слово «это» имеет здесь несколько эвфемистический оттенок, но взаимное понимание осуществляется, несмотря на неопределенный лексически тон разговора („это”), благодаря тому, что известно „в чем дело”, благодаря прежним впечатлениям, разговорам и пр., дающим простор для правильной в данном случае догадки. Ук. соч. с. 159.

— Я одно хочу сказать, — начала княгиня, и по серьезно-оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.

— Мама, — сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, — пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю. (52)

Наблюдая за повседневным речевым потоком, мы можем легко убедиться в том, что значительная часть нашей речевой деятельности служит не обмену информацией в строгом смысле слова, а каким-то другим целям. Еще Р. Якобсон выделил в своей функциональной модели языка т. н. фактическую функцию, направленную на проверку исправности канала коммуникации, на возбуждение внимания собеседника, одним словом, на наличие контакта, как одного из необходимых компонентов эффективного словесного общения<sup>19</sup>. В новейших же лингвопрагматических исследованиях говорится о коммуникации, направленной на подтверждение групповой и/или личностной идентичности говорящих<sup>20</sup>, на создание или поддерживание различного рода отношений между собеседниками (*establishing relationships*)<sup>21</sup>. Бывают ситуации, в которых просто приличие требует разговора, как это метко заметил еще в молодости Л. Н. Толстой: „Я не говорю о тех разговорах, которые говорятся оттого, что неприлично было бы не говорить, как неприлично было бы быть без галстука. Одна сторона думает: ведь вы знаете, что мне никакого дела нет до того, о чем я говорю, но нужно; а другая: говори, говори, бедняжка, — я знаю, что необходимо”<sup>22</sup>. Все эти разновидности „контактной” речевой деятельности осуществляются отчасти в стереотипических формулах (приветствия, поздравления и т. п.), отчасти в разговорах, в которых конвенционализована только тема (здравье, погода, рыночные цены, футбол и т. п.), а отчасти также в разговорах, в которых полностью (или почти полностью) отсутствуют какие-либо формальные или содержательные признаки их настоящей функции. Приведем несколько примеров. Кити наблюдает на бале за разговором Анны и Вронского, с которыми она оказалась *vis-à-vis* во время кадрили:

Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решило их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучшее партию, а между тем эти слова имели для них значение, и они чувствовали это так же, как и Кити. (90)

Существенно заметить, что этот „самый ничтожный разговор” сопровождается коммуникацией по неверbalным каналам:

Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее спыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибалась ее румяные губы.

<sup>19</sup> R. Jakobson, *Linguistics and Poetics*, [b:] *Style and Language*, New York 1960.

<sup>20</sup> B. Schlieben-Lange, *Linguistische Pragmatik*, Stuttgart 1975, с. 97—99.

<sup>21</sup> *The Relationship of Verbal and Nonverbal Communication*, The Hague 1980, с. 2,

<sup>22</sup> Л. Н. Толстой, *История вчерашнего дня*, с. 379.

## А Вронский

... каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть перед ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. (90)

Перед нами КРА, так как „А говорит X, но подразумевает Y, и В понимает это.” (Y = „создавание контакта”)

Своеобразный случай „поддерживания отрицательных отношений” представляют собой разговоры между Левиным и графиней Нордстон:

Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим.

Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина.

— А! Константин Дмитрич! Опять приехали в наш развратный Вавилон, — сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. — Что, Вавилон исправился или вы испортились? — прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити.

— Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, — отвечал Левин, успевший оправиться и сейчас же по его привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение с графиней Нордстон. — Верно, они на вас очень сильно действуют.

— Ax, как же! Я все записываю... (56—57)

В этих репликах семантическая связь между ПЗ и СВ весьма сложные: тут и ирония, и цитация, и намек, и взаимное понимание скрытого смысла реплик, хотя оба собеседника делают вид, что не воспринимают его.

Совсем иную функцию выполняет „ничтожный” разговор Долли и Кити после их ссоры; ее можно было бы назвать „восстановлением прежних отношений”. Долли хотела утешать свою сестру в ее горе, причиной которого был ее легкомысленный отказ Левину и последовавшее за этим оскорбительное поведение Вронского. Но сочувственные слова Долли до того раздражили Кити, что она, разгорячившись, жестоко обидела свою сестру, напоминая ей о ее собственном семейном несчастье. После этого обе сестры расплакались, и Толстой замечает:

Как будто слезы были та необходимая мазь, без которой не могла итти успешно машина взаимного общения между двумя сестрами, — сестры после слез разговорились не о том, что занимало их; но, и говоря о постороннем, они поняли друг друга. Кити поняла, что сказанное ею всердца слово о неверности мужа и об унижении до глубины сердца поразило бедную сестру, но что она прощала ей. Долли, с своей стороны, поняла все, что она хотела знать... (134)

Во всех приведенных примерах „контактный” разговор ведется, так сказать, по обоюдному соглашению. Бывают, однако, случаи, когда в таком разговоре заинтересован лишь один из участников общения; он и навязывает этот тип речевого действия своему партнеру, который „настраивается” на него обычно не без внутреннего сопротивления. Приведем два характерных примера. Первый — это разговор Кити с Левиным на катке. Левин влюблен в Кити, но не решается сделать ей предложение:

— Неужели вам не скучно зимою в деревне? — сказала она.

— Нет, не скучно, я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти так же, как это было в начале зимы.

— Вы надолго приехали? — спросила его Кити.

— Я не знаю, — ответил он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.

— Как не знает?

— Не знаю. Это от вас зависит, — сказал он и тотчас же ужаснулся своими словами. (37)

Второй пример — ситуация после первого объяснения Каренина с женой по поводу ее отношения к Бронскому:

... На все попытки его вызвать ее на объяснение она противопоставляла ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения... каждый раз, как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить. (159)

Выше уже было отмечено умение Толстого тонко и верно изображать многоканальное общение его персонажей. Среди приведенных примеров, пожалуй, не было ни одного разговора или даже единичного обмена репликами, где автор не указал бы на интонацию, мимику или жесты, сопровождающие вербальное общение. (Интонацию мы считаем хотя и принципиально языковым, но невербальным [= словесным] средством общения.) Кроме того, и это нам кажется особенно важным, эти примеры свидетельствуют о том, что эти невербальные средства нельзя рассматривать только как некий инстинктивный, биологический способ коммуникации, аккомпанирующий *par excellence* человеческое языковое общение. Интонация, а в значительной степени и мимика, и жесты — это не менее человеческие, т. е. социально обусловленные и отточенные, и вместе с тем глубоко личностные формы поведения, чем речь; они органически связаны с речью, а, следовательно, и с рациональным и моральным аспектами нашего сознания. Вспомним хотя бы маленькую Таню, дочку Облонского: она покраснела за отца, так как она поняла, что он притворяется... Невербальная коммуникация не просто аккомпанирует вербальную, но органически сливается с ней, то усиливая, то, наоборот, погашая значение последней, или же образуя в сложных комбинациях новые смысловые комплексы. Приведем еще один яркий пример для иллюстрации сложного „симфонического“ характера речевой деятельности. Сцена чаепития в доме Облонских. Присутствующие Анна и Кити хотели бы увериться в том, произошло ли примирение между Долли и Степаном Аркадьевичем после их тяжелой ссоры:

— Я боюсь, что тебе холодно будет наверху, — заметила Долли, обращаясь к Анне, — мне хочется перевести тебя вниз, и мы ближе будем.

— Ах, уж пожалуйста, обо мне не заботьтесь, — отвечала Анна, взглядываясь в лицо Долли и стараясь понять, было или не было примирения.

— Тебе светло будет здесь, — отвечала невестка,

— Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок.

— О чём это? — спросил Степан Аркадьевич, выходя из кабинета и обращаясь к жене.

По тону его и Кити и Анна сейчас поняли, что примирение состоялось.

— Я Анну хочу перевести вниз, но надо гардины перевесить. Никто не сумеет сделать, надо самой, — отвечала Долли, обращаясь к нему.

«Бог знает, вполне ли помирились?» — подумала Анна, услышав её тон, холодный и спокойный.

— Ах, полно, Долли, все делать трудности, — сказал муж. — Ну, хочешь, я все сделаю...

«Да, должно быть, помирились», — подумала Анна.

— Знаю, как ты все сделаешь, — отвечала Долли, — скажешь Матвею сделать то, чего нельзя сделать, а сам уедешь, а он все перепутает, — и привычная, насмешливая улыбка морщила концы губ Долли, когда она говорила это.

«Полное, полное примирение, полное, — подумала Анна, — слава богу!... (82—83)

Подведем итоги. На поставленные нам вопросы анализ привлеченного материала позволяет дать следующие ответы. 1. Не все КРА с антонимическим отношением между ПЗ и СВ являются ироническими высказываниями. Внутренняя антонимичность характерна и для тех типов КРА, которые мы условно называем „саморазоблачением” и „вызовом”. 2. Не все разновидности КРА воспринимаются с учетом ПЗ высказывания. В частности, при намеренном нарушении секвенциальности диалога („перемена темы”), а также в некоторых особых случаях деиксиса („прономинализация темы”) и умолчания семантическая связь между ПЗ и СВ отсутствует; отсутствует она и в большой массе речевого материала, представляющего собой разные виды „контактного” разговора.

Наш материал свидетельствует также о той огромной роли, которую неверbalная коммуникация играет в реализации КРА. Ввиду этого нам кажется возможным и целесообразным несколько расширить и видоизменить определение КРА, данное Серлом. Под КРА мы предлагаем понимать такие высказывания, в которых говорящий сообщает слушающему больше или иное, чем то, что заключено в ПЗ высказывания, пользуясь при этом невербальными каналами коммуникации и опираясь на общие для собеседников фоновые знания, а также на общую способность к рациональному мышлению и проникновению со стороны слушающего.

#### W KRĘGU ZAGADNIEŃ TZW. POŚREDNICH AKTÓW WYPowiedzi (NA PRZYKŁADZIE „ANNY KARENINY” LWA TOŁSTOJA)

##### STRESZCZENIE

Rozprawa ta poświęcona jest niektórym zjawiskom występującym w stosowaniu tzw. pośrednich aktów wypowiedzi (koswiennyje rieczewyje akty — KRA). W szczególności autor bada zagadnienie dotyczące istoty związku zachodzącego między znaczeniami bezpośrednio zaproponowanymi (propozycionalne znaczenia — PZ) a właściwym sensem wypowiedzi (smysł wykazywania — SW). W wyniku analizy przeprowadzonej na tekście powieści Lwa Tolstoja *Anna Karenina* autor doszedł do następujących wniosków,

1. Nie wszystkie KRA ze związkiem antonimicznym między PZ i SW mają charakter ironiczny. Wewnętrzna antonimia jest charakterystyczna i dla tych typów KRA, które można określić jako „samozdemaskowanie” albo „wyzwanie”.

2. Nie wszystkie różnorodne formy KRA wchodzą w związki z formami charakterystycznymi dla wypowiedzi typu PZ. Ujawnia się to w szczególności przy zamierzonym naruszeniu sekwencyjności dialogu („zmiana tematu”), a także w niektórych przypadkach zjawiska „deixis” („pronominalizacja tematu”) i przemilczania, gdy brak związku znaczeniowego między PZ i SW. Brak ten daje się zauważać również w dużych zespołach materiału wypowiedzeniowego, w których występują różne postacie dyskursu „kontaktywnego”..

Przeanalizowany materiał ujawnia także wielką rolę komunikacji niewerbalnej w realizacji KRA. W pewnym sensie rozszerzając i zmieniając aspekty przypisywane KRA przez G. Serliau, autor obecnej rozprawy zalicza do KRA również takie wypowiedzi, w których podmiot mówiący przekazuje słuchającemu więcej treści lub nowe informacje w szerszym zakresie niż to, co się formalnie mieści w propozycyjnym znaczeniu danego komunikatu. Podmiot mówiący posługuje się przy tym właśnie niewerbalnymi kanałami informacji, wykorzystując powszechnie znane sygnały foniczne, a także inne środki bazujące na zdolności racjonalnego myślenia i przenikliwości ze strony słuchacza.

Jak się zatem okazuje, pośrednie akty wypowiedzi, logicznie wkomponowane w międzyludzkie sytuacje świata przedstawionego, pełnią doniosłe funkcje artystyczne na równi z różnorodnymi środkami lingwistycznymi.

Przełożył *Jan Trzynadłowski*